

БОР. ПИЛЬНЯК

SPERANZA



БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

№ 37

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГОНЕК“
МОСПОЛИГРАФА * МОСКВА

Вышедшие книжки Библиотеки „Огонек“.

<p>КАЙЕННА А. ПОНДИ Иллюстрация: К. Д. МАУТ Библиотека „Огонек“ № 1 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>ВОЙНА БУДУЩЕГО А. РАЙФЛИНГ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 2 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>ОБЕЗЬЯНИЙ ЯЗЫК МИХ. ЗОШЕНКО Иллюстрация: М. ЗОШЕНКО Библиотека „Огонек“ № 3 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>А. АНАТОЛЬЕВИЧ МАЛДИН АНАТОЛЬ ФРАНС Иллюстрация: А. МАЛДИН Библиотека „Огонек“ № 4 Издательство „Огонек“ Москва</p> 
<p>РАССКАЗЫ И БАБЕЛЯ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 5 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>Д. КОЖИДИН ВТОРАЯ МЕШАНСКАЯ Иллюстрация: Д. КОЖИДИН Библиотека „Огонек“ № 6 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>ДЖОН ВИД ВОЙНА С КОЛОРАДО Иллюстрация: Д. КОЖИДИН Библиотека „Огонек“ № 7 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>ЕФИМ ЗОЗУЛЯ РАССКАЗЫ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 8 Издательство „Огонек“ Москва</p> 
<p>НИН. КАШКАРОВ РАССКАЗЫ ОБ ОКТЯБРЕ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 9 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>Д. АРИССА РЕЙСНЕХ АЗИАТСКИЕ ПОВЕСТИ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 10 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>„ИХАДИ“ ПРИШВИН СМЕРТНЫЙ ПРОБЕГ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 11 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>ЭРИК СОВКОЛЕР НОВЫЙ ЧЕХОВ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 12 Издательство „Огонек“ Москва</p> 
<p>П. В. ЗАЙКОВ НАУКА О ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 13 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>АНДРЕЙ СОВОЛЬ КИТАЙСКИЕ ТЕНИ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 14 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>В. И. ИНБЕР ВЕРА ИНБЕР РАССКАЗЫ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 15 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>А. И. СВИРСКИЙ НА ВОЛОСКЕ РАССКАЗ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 16 Издательство „Огонек“ Москва</p> 

Вышедшие книжки Библиотеки „Огонек“.

<p>РЕН. Т. МАРК МЕСС-МЕНД ДОЖЬ ГЕРМАНСКОЙ ЧЕКА Иллюстрация: Р. Т. МАРК Библиотека „Огонек“ № 17 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>Н. А. КАРПОВ ГРЫЗИКИ-ХОЗЯЙЧИКИ Иллюстрация: Н. А. КАРПОВ Библиотека „Огонек“ № 18 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>ЯКОБ ВАССЕРМАН ЗОЛОТО Иллюстрация: Я. ВАССЕРМАН Библиотека „Огонек“ № 19 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>А. БЕЗЫМЕНСКИЙ ИЗБРАННЫЕ СТИХИ Иллюстрация: А. БЕЗЫМЕНСКИЙ Библиотека „Огонек“ № 20 Издательство „Огонек“ Москва</p> 
<p>КАРЛ РАДЕК СУН-ЯТ-СЕН А. ТАТКО „ПЕЧАТНИКОВЫЕ ДЕЛАНДИ“ Иллюстрация: А. ТАТКО Библиотека „Огонек“ № 21 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>А. НОВИКОВ-ПРИВОН ПОД ЮЖНЫМ НЕБОМ РАССКАЗЫ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 22 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>М. ГОРЬКИЙ РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 23 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>ВСЕВОЛОД ИВАНОВ КОГДА РАСЦВЕТАЕТ СОСНА РАССКАЗЫ И СКАЗКИ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 24 Издательство „Огонек“ Москва</p> 
<p>АЛЬБЕРТ СЫРКИН ПОД ВОСТОЧНОЙ ЗВЕЗДОЙ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 25 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>Л. СОСНОВСКИЙ О МУЗЫКЕ И ПРОЧЕМ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 26 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>В. РУСТАМ БЕК ПОЛЯРНЫЕ ЛЬДЫ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 27 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>В. МАЯКОВСКИЙ ОБЛАКО В ШТАНАХ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 28 Издательство „Огонек“ Москва</p> 
<p>МИХ. ЗОШЕНКО ИЗВАННЫЕ ЮРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ Иллюстрация: М. ЗОШЕНКО Библиотека „Огонек“ № 29 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>ВЛ. ВАСИЛЕНКО РАССКАЗЫ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 31 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>ВЛ. ЛЮДИН РАССКАЗЫ О ДВАДЦАТОМ ГОДЕ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 32 Издательство „Огонек“ Москва</p> 	<p>М. ГОРЬКИЙ ДВА РАССКАЗА ИЗЪЕЗЖА КЛАДБИЩ Иллюстрация: А. РАЙФЛИНГ Библиотека „Огонек“ № 33 Издательство „Огонек“ Москва</p> 

БОР. ПИЛЬНЯК

SPERANZA

РАССКАЗ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ОГОНЕК“
Москва—1925

БОР ПИПРИК

СПЕРАНЗА

„Мосполиграф“ Типо-Лито-
графия школы ФЗУ им Бор-
щевского, Б. Садовая, 23.
Тираж 50 000 экземпляров.
Главлит № 37625.

РАССКАЗ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ОЛОНКА

Москва - 1957

СПЕРА 1957

СПЕРАНЗА

СПЕРАНЗА

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной Звездой, в тропиках и у вечных льдов—идут корабли. По морям и океанам—идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же—это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него—чайки и точкою в небе кондор. И на кубрике, у кормы на кораблях, живут возчики кораблей—матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой—грузятся корабли, чтобы итти, нести грузы—на острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес—Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет неделями и месяцами в море, и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег,—он на берегу,—
и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальш-борты и бьют до спардака,—когда корабль мечется в волнах овощинкою в кипятке,—тогда надо смотреть на гори-

379-А9396

зонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся,— тогда его стошнит в морской болезни, нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях,—потому ли только, что это их будни?—и матросы всегда дальнзорки!

И на кубрике, в бесконечные океанские вечера, после вахты и перед вахтой, в грандиозности морского одиночества матросы говорят—о земле, о той земле, какую они видели, и о том, что видели они на ней. Кроме моря, матросы видели порты всего мира, портовые кабаки, портовые публичные дома, портовую нищету, шум, крик и гам всего мира,—и матросы знают, что земной шар—даже не шар, а шарикшко и очень тесный шарикшко, так, что он не может испить всю морскую воду, соленую, как слезы. Кроме морей, матросы видели и все человеческие породы, и черные, и желтые, и красные, и белые, и все человеческие веры и манеры жить,—матросы видели, как люди молятся и Чурбанам, и Будде, и Христу, и Магомету, и Солнцу, и Конго, как люди ходят и в ивнинг-дрессах, и в юбках мужнины, и голые с повязкой на чреслах и без повязки на них,—как люди украшаются и пудрой, и кольцами в носу, и зубами, выкрашенными в черное,—матросы помнили, как всюду бьют людей,—и матросы знают, что ничему в мире верить нельзя, все в мире течет и проходит. Матросы не знали никакой иной любви, кроме портовой,—и прекраснейшее в мире—любовь—у матросов была смрадна—негртянская, индийская, китайская любовь—как смраден

портовый публичный дом в шуме, гаме и ночных красных фонарях. И на кубрике,—и в экваториальные ночи, когда кажется, что Южный Крест цепляет за мачты, и в ночи под Полярной Звездой на кладбище европейских вод,—матросы вспоминают землю, ту, что «на берегу». Но матросы, как все люди, еще и мечтают: о прекрасной жизни; их мечты строятся на безверии; их мечты строятся над черными, желтыми, красными и белыми человеческими породами и любовями; их мечты строятся над всем миром. А на кубрике, полярной ночью и ночью экваториальной, ночами в бури и штили—темная круглая безбрежность за бортом, чаша неба и чаша воды, колыхается вода сотнями метров зеленоватой мутной холодной глубины, слиты края чаш в безбрежности и—если штиль—горят, горят на небесной корке звезды, и ясно тогда, что эта небесная твердь расшита в гареме азиатского деспота, ибо кому иначе понадобилась бы такая нечеловечески-трудная красота?—не матросам же! А корабль с редкими двумя-тремя огнями черен в этой безбрежности, безмолвен, пуст,—и только на корме торчат скорченные тени матросов в их бесконечных разговорах. И падают иной раз с неба звезды. Так корабли идут по океанам из Буэнос-Айреса в Кардиф, из Гавра в Сингапур и во многие-многие иные места. Тесен мир.

И—ночь.

Имя кораблю—каботажному, семи-тысяч-тонному, чуть-чуть пиратскому для глаза постороннего (как все каботажные корабли, сохранившие в своих обычаях столетия рабских корабельных правил о мордобое стю-

варда и капитана, расчетов в каждом порте, аглицких морских законов, от тех седых времен, когда корабль ходил под парусом и с пушкой)—имя кораблю:—«Sperranz», что ли.

И ночь. Грузные груди воли ворочает море, тяжелые, такие, когда водяная муть, кажется не водою, а гута-перчью, нет горизонтов—там мрак и муть, и небо закутано мутью и мраком. Черен корабль, на нем нет огней; только на капитанском мостике у компаса, под колпаком над компасом, электрическая лампа, да синий и красный огни на боках спардэка; на капитанском мостике у компаса штурман в бушлате, у руля—вахтенный,—им двоим не спать. На сотни метров вниз, на тысячи километров во все стороны, на квадрильоны километров ввысь—безбрежность; глухо качается корабль в волнах; только штурман знает путь; и гудит, плачет ребенком ветер в вантах. И мрак, замер корабль на ночь, только на кубрике за ларем запасного руля на канатах скорчились три тени матросов, чья вахта ночью,—француз, англичанин и эстонец,—спит в рубке у спардэка радио-телеграфист. Нынче утром китаец-кочегар пел на носу странные свои песни, одетый, как всегда, в кусок синей тряпки, чуть-чуть прикрывавшей его плечи и живот; потом он долго курил опи́й;—потом он переоделся в праздничный свой европейский костюм и сытно обедал перед вахтой; а когда пробили склянку, он заявил матросам и капитану, что он, рабочий, честно работал всю жизнь и теперь не хочет итти к котлам, не хочет работать, он устал,—и он, в европейском своем костюме, раскосоглазый, бросился со спардэка в море.

Когда капитан хотел его побить; он прыгнул о ель поспешно, убегая от капитана, нырнул, как хорошие пловцы, головой вниз, и больше уже не выплывал из воды.

Ночь. Вот муть и мрак рассеиваются в небе, и возникает страшное безлюдье небес, падающих звездами, холодными и колкими, как иней. Ветер, который стал вольней и серей, гудит в антеннах,—но радио-телеграфист спит у себя в рубке,—мирным сном. А если бы он хотел, он мог бы узнать миллионы разных вещей, о том, где идут и как идут корабли, какой миллиардер, американский под-король стали, плывущий из Сан-Франциско в Токио, беспокоится о курсе франка и шел радио-аппарат не очень нескромным для приказа о корзинке цветов,—о том, как шахтеры в Англии отстаивают свое право жить,—как политиканствуют политики,—как хозяева земного шара, живущие под Нью-Йорком, под Парижем, под Лондоном, в Ницце и на Панамском канале, хотят уничтожить хозяев новой веры в мире, засевших в России в московском Кремле, где на азиатской башне часы отбивают Интернационалом, в азиатской части города,—впрочем, о России телеграфист знал столько же, сколько он знал, положим, о Китае, о том китайце, что бросился сегодня в море, чтобы умереть. Но телеграфист спит, этот, научившийся подслушивать неслышимое в мире. И главное и значимо то, что есть в мире такое, что не может человеком воспринять просто, что улавливает он тончайшими аппаратами, что окутывает, закутывает человека, огромная сила, которую человек не знает, но которая

над ним, в нем, вокруг него,—и сколько есть еще сил, не познанных человеком?—и что человек знает твердо?—ведь утро придет огромным огненным шаром из воды, и день уйдет этим шаром в воду,—и те, кто плавал здесь сотни лет назад, нибелунги, бритты и испанцы, обросшие легендами, как волны в бурю обрастают седой пеной,—они не знали этой безвучной ловитвы неслышимого в мире, хсть те же дельфины и чайки сопровождали их по морям,—ужели они знали такое, что не знаем мы?— Но вот гудят антены уже не в ведре, плачет приемник в радио-будке, и сонный телеграфист принимает радио о том, что где-то какая-то коваля возникает революция, закрываются, загораживаются минами и пушками порты и морские безбрежности...

На кубрике, у запасного рулевого яля, на канатах лежат и курят, спички зажигают о палубу, бельгийские спички, такие, что если с горя ударит матрос о палубу коробком, вспыхнет весь коробок. Трубки матросов так же корявы, как их пальцы в струпьях мозолей и ран от морской воды. Шумит вода за кормой, и огни трубок, зола на ветре летит хвостом кометы в море, освещая руки, матросы тесно сидят, сокрывшись от ветра. Нос и корпус корабля ушли во мрак. Эстонец-боцман сумрачен и тих, тихий человек, мечтатель, саженьный ростом.

— Ты выпил, что ли, боцман?

— Нет, я не пил...

— В Бомбее есть гора и на горе пропасть, и там они хоронят. Лысая гора, ничего на ней не растет. Приносят

человека и кладут на камень. А над горою выются ястреба,—они у них священные. Так эти ястреба с'едают мертвецов в пять минут, одни кости остаются. Тогда ихний поп стаскивает кости в пропасть. Сколько тысяч лет так хоронят и все засыпать пропасти не могут,—я глядел в эту пропасть—дна не видать. И хоронят там только богатых... Мы ходили туда с дункманом, полиция нас ничего, не тронула... А теплынь там какая, голому жарко, так и ходят. А акулы прямо в порт заходят, их тамошние мальчишки, мерзавцы, за шиллинг в воде режут... А солнце... А бабы—дуры, белых очень любят и прямо без денег...

— А как англичане—сволочи, байстриюки, их заставляют работать, даже, значит, баб. Работают, значит, грузят двенадцать часов подряд, и полчаса на обед, на бананы, значит. Они голые таскают тюки с кофеем или чаем, пот валит,—а англичанин в огуречном племе и с резиновым жгутом,—и—чтобы бегали с тюками по сходям рысной с бананов, и молча чтоб,—а если зазеваеть или слово—сейчас резиновым жгутом вдоль спины, значит. Мы было собрались им помочь,—так нас, значит, прямым манером в береговую контору на божий суд—и мы, значит, испробовали резиновых жгутов, выходит не сладко... А бабы—ничего, после работы тут же вымоются в море, поедят бананов и манят нас к себе в соломенные, значит, шалаши, с мамашей познакомят... А англичане так и живут отдельными поселками, со стражей, и к ним туда без пропуска не попадешь... И платят англичане бабам—шиллинг в день...

Ветер сеет огоньки трубок—за борт, в море, во мрак. Ветер щупает людей, их отрешье. Свежо. На капитанском мостике, где у компаса, следя за курсом и за узлами, склонился штурман, склянки отбивают время, полночь. И груди волн трут корабельный борт, в стремлении всегдашнем ворваться за него, чтоб побегать по трюмам, чтоб разломать и смыть перегородки, каюты, склады,—чтоб корабль замотался на волнах в предсмертной томе, чтоб забегали по палубам остервеневшие, обезумевшие люди и—чтоб корабль сначала медленно, кормой или носом, стал грузиться не грузом, а собой под воду, в зеленую враждующую муть,—сначала медленно, потом поспешно,—чтоб потом—там под водой, в темнеющей ко дну мути, ему, кораблю, валиться в муть ко дну по эллипсическим кругам, оставив над водой на несколько минут воронку пены, потом—спасательный кружок, осколки лодки и трех людей, раскиданных волнами на километр друг от друга,—а кроме них—безбрежность океана и чашу неба, ставшую над ним...

Боцман говорит вслух своим мыслям:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабочие.

Потом матросы с кубрика идут спать, в трюм. Француз—третий стюард, которому судьба предложила прислуживать у стола механиков, юноша, идет на нос, в «рум», где на подвесных кроватях спят ирландец—второй стюард, негр—кок и помощник повара, еврейский мальчик из Яффы, кроме мытья посуды, выполнявший обязанности женщины для чиф-стюарда. Мат-

росский запах и запах матросских кают—он крепко, навсегда пропах солью, потом, варом и рыбой и—морем, невеселый запах, едкий, как эссенция, такой, в котором вся матросская жизнь, в соленой морской воде, в поте, на соленой рыбе, которую повар крепко снастит перцем, чтоб не воняла, когда гниет. В ноз-рум было темно, француз влез в свою койку, скипидарящий запах ему был привычен, больно укусила блоха, константинопольская, потомок тех, которых корабль набрал, когда перевозил людей, как скот, из Ялты в Константинополь. Кок—негр много уже лет ходил по морям на кораблях, развешивая по утрам овес для порича, соленую баранину для бекена, варенье из апельсиновых корок, у него давно атрофировалось понятие свежего, тухлого, соленого, сладкого и горького,—он лежал на нижней койке, под французом, и француз безразлично слушал, как рыгает негр, как бесповоротно навсегда испорчен желудок кока, точно желудок подступал к самому горлу и выворачивался в рыготе в рот, в смраде несваренного мяса. Но кок мирно спал, спали и остальные перед новой пустыней дня, выкинувшей здоровых людей чужой волей—в пустыню вод. И третий стюард тоже скоро заснул; перед сном он немного думал о той случайной фразе, которую кинул боцман, о России, как часто и много думали об этой стране матросы,—он никогда не был в этой стране и очень мало знал о ней, он знал, что там много лесов и полей, что она огромна и очень богата; те русские, что приезжали в Париж, умели сорить миллионы франков,—но это ему было не важно,—он думал о том, что в этой неизвестной стране рабочие

стали правителями своей жизни,—и о том, как там, должно быть, хорошо жить и трудиться, в стране братьев,—и он старался представить себе—как там хорошо... Потом он заснул, в хороших мыслях о прекрасной жизни. А на кубрике боцман вспоминал свою псковскую губернию, свой хутор и зимнюю снежную—бесконечно-звездную—ночь, и мамини сказки, и корявого отца, сплавщика по Волхову,—он, боцман, сам уже за полдней своей жизни, семнадцать лет не был на родине, не знал ничего о своих, живы ли?—он не думал о том, что его Эстляндская губерния стала государством,—но он знал, что это последний его рейс по морям, он гордился тем красным паспортом, что Шварц выдал ему в Лондоне,—пусть этот паспорт ничего, кроме горя, не несет во всех странах, кроме России!—он знал, что он едет домой и там—дома—он проедет в Москву, в московский Кремль, где не был никогда в жизни и там поселится со своими братьями. И московский Кремль ему казался таким же прекрасным, как мамини сказки и как ласка корявой в мозолях руки отца.

А над морем и кораблем шла, проходила ночь; и красное, огромное, какое бывает только на морях—встает из вод солнце, красит красным свинцовые губы волн, и волны зеленеют за бортом, чтоб удобнее было плескаться в них дельфинам. Тогда вахтенный будит команду, толкая в бок и обращаясь по-английски:

— Джентльмены!

И под красными лучами солнца корабль очень похож на пиратское судно. Это совсем не верно, что самое чи-

стое место в мире—палуба корабля; краска давно сползла и лезет ржа; сажа и угольная пыль крепко в'елись во все; канаты много потрудились, и много на них вылило дегтя. День уже, и видно, как на капитанском мостике стоит помощник капитана, в растерзанной форменной куртке, с волосатой грудью наружу, такой меднорожий и оплывший, что рожка просит кирпича, с трубкой в зубах—такой покойный, что, даже колотя матроса боксом, он не вынимает трубки изо рта,—и он с утра уже недоволен, он кричит с мостика так громко, что это, должно быть, слышно за несколько узлов, крича, он ругается на всех языках мира и больше всего по-русски, ибо русская ругань, крепчайшая в мире, стала национальной на всех портовых языках. Матросы, с корытцами вроде тех, в которых кормят свинят, идут чередой за брэк-фестом, на кухню, где пахнет перцем и очень жарко; из этих корытцев матросы будут есть; матросы идут не спеша, оборванцы всего мира: босые, в опорках, в резиновых сапогах, в брюках из мешков и просто в шерстяных подштаниках, гологрудые, с засученными рукавами, в кепках, в кожаных картузах, в соломенных шляпах,—во всяческом отребье, которое им оставили порты и не истлило море... Впрочем, в порту, на берегу, где они получают за весь рейс сразу, они нарядятся франтами.

И в кухне от стюарда и от вахтенного с мостика команда узнает, что курс изменен кораблем, что офицеры получили радио о революции где-то там. Где эта революция—на кубрике никто не знает: и каждый знает поэтому, что революция на его прекрасной родине—на

его прекрасной родине его братья льют кровь за прекрасное будущее. И на кубрике праздник, на кубрике толпятся в возбуждении матросы:—где-то там—революция! Боцман, уже старик, в широкополейшей шляпе, в резиновых сапогах, в синей рабочей блузе,—он только что собирался закурить свою трубку,—бьет коробкой спичек по стальной палубе, коробка вспыхивает дымом и огнем, и боцман идет по палубе в русскую присядку под хлопанье ладош других матросов. Швед, путая мотив, однажды слышанный в Порт-Петербурге, поет Интернационал, и, так же путая мотив, на своих родных языках, ему хотят помочь ирландец и еврейский юноша из Яффы. Тогда отборнейшей русской матерщиной до гроба, на несколько узлов в море, орет с мостика помощник.

— Стервь! байстрюк!—кричит с нижней палубы чиф-стюард еврейскому юноше из Яффы,—кто будет мыть тарелку капитану?!

И когда мальчишка поднимается к нему по стальной лесенке у борта, грек—чиф бьет мальчишку кулаком по голове и шее.

А солнце уже высоко в небе. Голубая чаша небес прикрывает зеленую, как старинная бумага, чашу вод. Плещется вода о борт. И мелкой дрожью дрожит корабль, разрывая, сваливая, валя воду, крася ее сотнями красок,—в своем стремлении вперед, в безбрежность, измеряемую компасом, солнцем и звездами, ту, которой правит руль. Солнце же кладет на воду не синий, а золотой ковер, и на этот ковер нельзя смотреть лишь простым глазом,—он хорошо разбираем в подзорную

трубу. Пиратское, каботажное, горькое судно «Speranza» издروбившее на своем веку многие Панамы, Сингапур, Бомбей, Буэнос-Айресы, Сидни—режет и режет воду.

Потом корабль приходит в порт, к берегу, к земле. Там, в туманной мути вод, первыми возникают огни маяков, мигающие огни, чтоб не быть категорическим контрастом болтающейся мути вод. На кубрике, на палубе матросы моются из шланг морской водой, моют кипятком отработанного пара свое белье, друг друга бреют, потому что на землю, «на берег» надо сойти чистым, потому что все мечтанья моряков—о земле, ибо, конечно, жизнь только на берегу—на земле.—Маяки уже близко, и тогда приходит пилот, первый человек с земли, он идет на капитанский мостик,—и тридцать дней морского перехода, тридцать дней пустыни вод, и бурь, и штилей, и закатов, и восходов—скинуты со счетов жизни каждого матроса.

И снова ночь. Корабль в порту.

Корабль стоит в квадратном ковше, за шлюзами,—чтоб не мешали отливы и приливы,—под краном. Кругом и рядом стоят десятки кораблей, нагруженные, ждущие прилива, стоящие на очередь ко крану. Ночью не видны пыль и нищета. За мачтами, за кранами, за холмом земли, где город и веселье, в небе шуплый, в желтой лихорадке месяц. И ночью редки гуды кораблей. Корабль стоит у крана с выпотрошенным нутром, с развороченными в щепы палубами, с потухшими котлами и потому без единого огня в каютах и на палубах; впрочем, свет и не очень нужен, потому что на корабле нет никого, и белыми шарами на берегу горят фонари.

Днем матросы ходили в береговую контору—перенаниваться, перекабальтаться вновь на новый путь в моря; двоих скинул «с борта» капитан и взял двоих новых,—они одни на судне, ибо указано судьбой новой метле—коль не поистине, то хоть стараться—места чисто.

Днем грузился корабль. Над ним, над палубами свисал скелет крана. По рельсам на земле к крану подходили поезда с углем, вагоны везжали в кран на лифт, и лифт поднимал вагоны над кораблем; там, как совок с корабельный трюм по желобам; и когда вагон вытряхивался углем в вышине, шел уже второй вагон, а первый по новым рельсам скатывался вниз; в трюмы с грохотом валился уголь, пылица шла чернейшей тучей—в сутки пыль садилась на палубы и ванты на дюйм,—в трюмах, уже лопатами и кирками, расталкивали уголь люди, голые и черные, чернее негров в мраке пыли; а поезда все шли и шли; и кран откусывал вагон за вагоном, чтоб пустые вагоны по новым рельсам гнать на копи за новым углем; над доками, над портом стояло солнце в тучах дыма, такое ж дикое, как в Канаде и Сибири в летние лесные пожары—в дыму; над доками, над портом люди дышали углем, и уголь скрипел на зубах; над портом, в черной копоти—гремел летящий уголь, звенели цепи и буфера тысяч вагонов, скрежетали краны, скрипели лебедки на кораблях, гудели корабли, выли сирены таможенных катеров,—в порте, в доках было все, что может человек поставить против морских, лесных, степных, небесных и метельных стихий, созданное машиной против—против полевого цветочка.—По-

том, в пять часов, когда солнце пошло к западу,—прогудели новые гудки, последний раз взвыли краны, вдруг иссякли вагоны и замерли на рельсах, в кранах, в клетках над кораблями, вдруг потянул ветерок и колыхнул пелену пыли—к городу, на землю,—незаметные при машинах потянулись из порта толпы рабочих—тоже к городу, на землю—на отдых, к семье, к домашним своим заботам и помыслам,—тогда из-за машин, из копоти, из воды в доках—зеленой и мутной, выглянули нищета, тьмета мирская, одиночество.

Новые двое пришли на корабль после пяти, когда корабль был безмолвен, пуст, в пыли на дюйм, в горах угля, торчащих из трюмов наружу, со снастями, раскиданными всюду и как попало. Они впервые услышали об этом корабле сегодня в береговой конторе, как впервые занес их бог в этот порт в Англии, в Южном Уэльсе; один из них был русский, другой испанец. Их поместили в ноз-рум, где спал кок. Они разложили свои узелочки и тихо сидели на палубе у фальш-борта. Они видели, как на несколько минут приезжал капитан на двухместном автомобиле, с очень элегантной лэди,—капитан переоделся в ивнинг-дрэсс и уехал, последний раз автомобиль мелькнул у ворот доков, оттуда пошел в гору по дороге к Кардифу. Два матроса с кубрика, в пиджачных парах, с тросточками и в шляпах пошли на берег. Пьяный и весь в грязи вернулся с берега второй стювард. На спардэке запел песню вахтенный,—и песня оказалась русская, очень тоскливая и тихая; вновь пришедший крикнул от ноз-рума:

— Земля, какой губернии?!

— Псковской, Ямбургского уезда!—А ты?

— А я, видишь, новороссийский!.. Видишь, тоزاریщ, сказал бы кому, чтобы поесть дали, а то мы, значит, со вчерашнего дня не ели. Выходит голодно, не жрамши..

Вахтенный в мѣс-рум толкует со стювардом; стювард в крахмальной рубашке, в лаковых туфлях собирается на бал, куда-то в город, он спешит и он кричит сердито:

— Дайте этим байстриюкам, что осталось на кухне от матросов!

На досках, тех, коими закупоривают трюм, сваленных сейчас грудой, вновь пришедшие едят капусту, салат и гороховый суп с бараниной. Вахтенный сидит с ними, они толкуют о том, что на всех кораблях все стюварды—сволочь, рукоприкладцы и воры. Пыль села, садится. Уже вечереет, вспыхивают огни на фонарях; от воды, как на болотах, поднимается туман и холодеет, вода за бортом—неподвижна, зелена,—потом, когда совсем стемнеет, на небе станет дохлый месяц. Вновь пришедший русский очень разговорчив, вот его история:

— Все-таки на «Рюрике» очень били, я из-под ружья не выходил. Пришли, значит, все-таки, в Штогольм. Там мы с товарищем и убежали, говорят—ничего не поймешь, что бормочут,—ночь в лесу ночевали, пошли утром к порту, смотрим—стоит, а флаг уж поднят, мы опять в лес... А жамкать охота—брюхо так и ходит; ну, решили,—где хлеб жамкаем, тут и родина наша, как пролетарин... Обошли город, спрашиваем, нет ли где еврея, все-таки, чтобы шкуру продать и, зная, на-

шли на краю города, гомельский, обменял на пиджаки, и наши три рубля обменял на кроны; спасибо, хороший человек, спрятал нас у себя, а потом погмыли на парусник с лесом, на сто пять дней в море, зная, в Австралию, в рабы, зная, без единого слова; сто и пять дней тросы вязали, с рук кожа слезла,—зато научились и по-шведски, и по-аглички, горьким опытом.. Стал себя выдавать за шведа. И исходил я весь свет, и выходит, куда ни кинь—езде клин и кругом пешнаидцать. Лучше всего жить рабочему классу в Австралии, там законы правильные и дают землю задаром,—я и там жил, женился, баба уместная, три года жил, стал зваться, что не швед я, все-таки, а русский,—а тут, зная, у нас в России произошла революция,—и пошло с двух концов: англичане меня погнали, к бабе в питаны, как, зная, русского, всех русских гнать стали,—а с другого конца я и сам домой захотел, нет терпения.. Бросил бабу, англичанка она, владении бросил, стал на корабль, ехать домой, зная,—да не тут-то было:—четвертый год мотаюсь по морям и никак до дому не доеду, весь свет про Россию орет, а дороги к ней не найду, вроде как она провалилась под землю,—не вплавь же к ней плыть, зная... Все-таки теперь я советский; в Ливерпуле меня изловили англичане; паспорта, конечно, не про нас писаны,—благодетель говорит:—«паспорт вы, джентльмен, обязаны взять в царском посольстве»... «Так, говорю,—а какого же это царя посольство? Это, зная, врут, что Николай помер?—Мне, говорю, все равно, какой паспорт брать, хоть японский, я трудящийся, только тогда ты, господин высо-

кай, одолжи мне без отдачи два фунта семь шиллингов, потому как белые паспорта дают за деньги, а Шварц-советский—задаром, да еще на работу ставит, да к тому же и байстрик ты, высококой, потому сам трудящийся, а стоишь против рабочих, знасить»... Ну, он мне боксом по шее, а я ему по-русски в зубы... Теперь я нигде на берегу жить не могу, только на воде... на основании аглицкого закона.

Уже опешил вечер, судно потемнело, скрыло мраком свою нищету, в порту, над доками стало тихо, взмошел в желтой лихорадке дыма месяц. Матросы с'ели цветную капусту. Вахтенный-боцман сказал тихо, огромный и тихий человек:

— А в России теперь живут без денег, и правят рабчие...

...В городе, за горой, над пляжем стоят карусели, тир, рестораны на колесах, в сторонке в каменном доме музык-холл, на углах публик-хаузы, где стоя пьют пиво, уиски и джин. Огни реклам—сначала лиловые, потом голубые, потом синие, потом красные—сначала сыплются каскадом, потом каскад сворачивается в метельную воронку, потом огни воронки взрываются, как бомба, и из бомбы повисают женские панталоны с указанием фирмы, где можно купить лучшие в мире шерстяные английские панталоны,—потом, вслед за панталонами, возникает новая патентованная бритва, тоже лучшая в мире. Под каруселями, у тира и—придушенная—из музык-холла гремит музыка. Под каруселями, у тира, у прилавков публик-хаузов тискаются матросы, в шляпах, со стéгами в руках, в крахмалах с чужой шеи. Над

улицами, над площадью—темное небо, которое там за пляжем сливается с морскою мглою.

Матросы со «Speranza»—четверо—франты—много пенсов оставили в публик-хаузе за стаут, сидели в музык-холле, отдыхая, куря и хочоча. Потом они пытали счастье в тире, и один выиграл женский берет. Они заходили в японский магазин, где любую вещь можно купить за шесть пенсов. В прилив они купались в море, на пляже, как и все, в купальных костюмах, чтобы посмотреть на голых женщин. В сумерки они заходили в лавочку к старьевщику-еврею, продавали ему кокаин и опий, который сами купили в Сингапуре. Они были счастливы тем, что ходят по твердой земле, по берегу, как все остальное человечество,—как все остальное человечество, они смотрели на женщин, которых на кораблях нет, пили уиски и стаут, и платили за них собственными шиллингами, читали «Дейли Хэралд» и купили на артельные деньги письменник, точно у них будет досуг и смысл писать любовные письма женщинам и деловые, с приглашением на фэйф-о-клок, джентльменам, живущим на берегу. К вечеру они были пьяны. А когда над морем и миром стала луна, похожая на китайца,—по грязной улице на окраине матросы шли в притон; на улице было пустынно, ставни были плотно прикрыты, изредка слышалась скрипка, у одного домика, на луне, на пороге сидела негритянка и говорила чуть слышно по-английски:

— Пдниз...

Матросы вошли в домик, в котором один из них был пять лет назад. Там было по-старому, хоть ему и было

немного обидно, что его никто не помнит здесь, как он был неизмеримо пьян и сорил шиллингами: он очень хорошо это помнил, и хозяйка была та же, и он сказал навсегда:

— Пожалуйста, к нам потанцовать мисс Франсис...

Но Франсис здесь уже не было, и через час матросы, рассованные по закутам, лежали с женщинами, которых видели первый и, должно быть, последний раз на земле, которым здесь, в припадке нежности, страсти и лютого одиночества, они сыпали все, что накопилось, о Бомбее, о стюварде, о кокаине, о революциях, о России, о родине и матерях... Девушки были очень покойны и, как все проститутки в мире, шиллинги прятали в чулок.—Тот, который спрашивал о мисс Франсис, который мечтал о ней все море, как о прекраснейшей, не пошел ни к одной девушке, он сидел в танцзале, пил стаут, ожидая товарищей. Товарищи вернулись, в сущности, скоро, потому что была очередь. Тогда они снова потащились по улице; у порога попрежнему сидела негритянка, и она опять прошептала:

— Плиз...

Тот, который не нашел мисс Франсис, остановился против нее, его тень от луны упала на колено негритянки; негритянка улыбнулась белками, и из-за мяса губ полезли белые лопатки зубов. Матрос сказал:

— Идем, товарищ!.. с горя...

Город англичан уже спал, и спал порт.

...На корабле темно и безмолвно. Только в мэс-рум горит лампа, да скользнет иной раз по палубе огонек электрического фонарика, да качается огонь на мачте.

На спардэке—вахтенный, и вахтенному издали слышны четкие по камню и железу шаги идущих на ногах и шорох и сопение ползком возвращающихся на борт. Вахтенный спокойно слушает, как за бортом о борт толкнулась лодка и как стювард и мальчик из Яффы, в ночных туфлях, таскают мягкие тюки; со спардэка видно, как на веревке тюки спускаются за борт, там кто-то бесшумно их перенимает, и вновь бежит стювард в мэс-рум:—это контрабандисты, это контрабандистам продал стювард что-то, привезенное из Азии... Стювард—в крахмальной рубашке, в брюках от смокинга, в лаковых туфлях, но смокинг он снял, черное его лицо—грека—сосредоточенно и бодро... Вспыхнула масленка в кухне,—кто-то пришел за пресной водой. На свет вышел стювард, посмотрел подозрительно, сказал:

— Что здесь шляется? Надо спать.

Матрос облял стюварда по-матерному — по-русски,—и добавил:

— Генри очень болен, лежит с утра, тошнит.

Из мрака появились еще двое, стали у дверей. С кубрика, держась за стены, качаясь, притащился Генри, вслед за ним боцман. У Генри запеклись губы и лицо было землисто, как у мулата. Генри прошептал:

— Где стювард?

Стювард ответил не сразу. В кухне с дверями на оба борта, с огромной плитой и колпаком над ней, с ведрами и кастрюлями по стенам,—на столе чадила масленка; дверь на палубу была открыта, и там виднелись канаты и решетки бортов; лица людей были плохо

различимы; на столе около масленки лежала соленая рыба на утро. Генри повторил:

— Где стюард?

Стюард сказал:

— Я здесь.

На лице Генри и в голосе его появились надежда и умоление, жалкие, всегда унижительные для человека. Он зашептал торопливо:

— Мне бы кусочек лимона... Очень мутит меня...

Мне бы лимона... Я совсем нездоров!.. Мне кусочек...

— Нету лимона.

— Врешь, стюард, ведь покупал для моря,—сказал кок от дверей.

— Нету лимона! Генри пьяница.

— Дай лимона! Мы бы без тебя смотались в порт, да заперто...

— Нету лимона!—Стюард руку положил в карман, где револьвер.

Генри стоял у стены, и не сразу заметили, что он пополз по стене вниз, упал на пол, и заметили лишь, когда он захрипел; тогда увидели, что изо рта у него ползет желтая пена, и руки мучаются в судороге. Тот, что пришел за водой, вылил на Генри ведро воды. Матросы положили Генри на стол, где лежала рыба. Генри притих и застонал. Кто-то пошутил:

— Брось, Генри, а то еще умрешь,— придется тогда шить тебе мешок, да в море рыбам...

Другой рассказал к случаю:

— Во всемирную войну я на транспорте перевозил цветные войска из Индии и Австралии, здоровенные

ребята,—а как выйдем в море,—и качки нет никакой, а они дохнут, как мухи. Я приставлен был к покойникам, мешки шить,—в одну ночь двадцать два мешка сшил, сошьешь мешок, в него покойника, дырку тоже зашьешь—и в воду акулам на ленч...

Масленка чадила мирно. Стюард жевал чунгом. Генри приподнял голову, осмотрелся, сказал:

—Нету лимона! Тогда, пожалуйста, термометр...

Термометр нашелся не скоро и, когда нашелся, его вставили Генри в рот, под язык. Стюард, заложил чунгом за щеку, с масленкой в руке, отворачивал веки Генри и заглядывал внимательно, точно что-то понимая, в нехорошую, большую глубь глаз Генри. Потом, толкаясь в темноте, за руки и за ноги матросы потащили Генри на кубрик. Стюард остался в кухне, сел к столу около рыбы и масленки, широколобую свою, черную голову положил на ладонь, задумался, жевал чунгом, эту бесконечную жвачку моряков. В ноз-рум вновь пришедшие на корабль устроились спать, обживали новое место, слушали, как рыгает кок, привыкали к константи нопольским блохам. Было темно и душно. Они видели, что мальчик-поваренок долго рылся в своем углу, переодевался и потом тихо ушел из каюты; они не видели, что мальчик осторожно пробирался по палубе к рубке.—если б осветить неожиданно лицо мальчика электрическим фонариком, то можно было бы увидеть, что оно полно боли и страдания; мальчик прошел в рубку, гам, через внутреннюю дверь в кухню, он прошептал:

— Я здесь, стюард...

Стюард оторвался от своих мыслей, от чунгома, черная голова поднялась от огня, он взглянул в темный угол мечтательно и нежно. Свет в кухне погас...

Все огни потухли на корабле, корабль уснул. Только на капитанском мостике стоял вахтенный. Но и он скоро уснул, стоя. В порте пересвистывались сторожа, гигантский корабль разводил пары, шипел, чтоб уйти из доков с рассветным приливом. Месяц уже скрылся, и было очень темно, как должно быть пред рассветом.

А в шесть часов, когда уже рассвело, вновь загудели гудки, пришли рабочие, пошли, полезли в краны поезда, черными столбами повалила каменноугольная пыль, застилая солнце, раз'едая все, залпескалась по налубам вода из шланг. Настал день. Генри умер утром.

...И снова корабль, семи-тысяч-тонный, каботажный, однотрубный, выкрашенный в серую краску, нагруженный по фальш-борты углем,—идет в море. Он проходит Па-де-Кала, Ламанш, идет в Северное море—колыбелью европейской культуры, колыбелью мореплаваний, где норманны и бритты пошли впервые строить европейское благополучие в мир. И Немецкое море—к вечеру—встретило «Speranz'u» штормом.

На корме, застыв от ветра, стоят матросы. Один говорит:

—Вот на этом месте, где мы проходим сейчас, немецкие субмарины в великую войну плескались, как щуки. На каждую милю приходится три погибших судна. Кладбище корабельное. Можно было бы построить целую страну... Губили друг друга и немцы, и англичане, и французы...

Вечер. И вода, и небо, и ветер—как свинец. Вода хлещет за фальш-борты, зеленая, тяжелая, злая. Седая пустыня кругом. И совершенно ясно, как над этими просторами шла, шлялась смерть и совершенно ясно, что европейское человечество, оставившее истории средневековье, совсем—совсем не совсем—не изжило его, оно водой, как кровь кровью, как вода, и страшным одиночеством пиратствует на морях. Матросы очень хорошо знают, страшно знают, как много могил на—даже на морях!.. И эти могилы—не застыт ли они подлинную жизнь—многими своими жутями, одиноко человеческим и промозглым?—и не она ли—эта жуть—страшит дисциплиной аглицкого морского устава и тем, что матросы, говоря «мы идем на берег», подчеркивают водяной их дом,—но о море не говорят, потому что оно им слишком буденно? И сиротливо, должно быть, смотреть на Большую Медведицу, которую боцман видел из своей Псковской губернии и которую бритты и норманны видели семьсот лет назад? И вода, и небо, и ветер—как свинец. И корабль—скорлупкой в них. Пустыня кругом, пустыня вод, великое кладбище... Над горизонтом красная щель, в эту щель уходит солнце, красное и огромное, не круглое, а как сплюснутый мяч,—и от него по свинцам волн течет кровь. Мимо проходит трехмачтовый парусник, на всех парусах, точно такой же, какие ходили здесь триста, пятьсот лет назад...

И ночью—буря. Небо звездно, в небе Большая Медведица и Полярная звезда, но под небом все сошло с ума. Домищи волн лезут на корабль, пенятся, гре-

мят, ревут ветром, бьют через борты, влезают на нос и корму, друг на друга, на небо,—ветер рвет пену, и она тысячей планг несется над водой, над кораблем, к звездам. Мрак черен. Ветер, как сумасшедший в сумасшедшем доме перед своей идеей, в нее упершись, дует, плюет остервенело, в одну точку, точно хочет сдуть корабль к чорту. Весь корабль завинчен, заклепан, завязан. Корабль, как щенок в менингите, обалдевшим щенком мечется, то визжа винтом в воздухе и ныряя носом, то вставая на задние лапы, то валясь на бок.—И, конечно, тут, в бурю, в страдания, у корабля возникает: душа, злая душа, враждебная человеку, ибо весь корабль, дрожащий мечущийся, злой—каждой своей стальной частью—столкывается с морем, с морским чортом, чтоб выкинуть, отдать морю людей, скинуть с себя—их и их вещи: по кораблю нельзя ходить, можно только ползать, держась за тросы, вместе с тросами взлетая над водой, вместе с тросами исчезая в воду... На нижней палубе под спардеком волны отвязали бочку с сельдью, бочка пляшет, вертится волчком в зеленой пене на палубе, в суматошной воде, над палубой, над мутью боли шарит зеленый свет прожектора; помощник капитана в рупор кричит на кубрик, и трое бегут с арканами—ловить ожившую бочку; бочка пляшет, как пьяный швед; матросы крепят конец каната и с другим концом идут на палубу к веселью волн и бочки, вода летит над головами, и бочка бегаёт от матросов, толкаясь у фальш-бортов, в холодном свете от прожектора... Мрак, черный мрак над кораблем, прожек-

тор шарит сиротливо. Кто вспомнит о плавающих по морям?—Капитан склонен над компасом:—Северное море—бурное море, много гибнет на нем кораблей—кладбище. Помощник капитана, в коже с ног до головы, с рупором в руках, с биноклем на шее ползает по капитанскому мостику,—гремят волны, свистят в тросах и мачтах ветер, шипит, лает, орет все,—и к вою бури—над ней гремит—матерщина помощника капитана, грандиозная матерщина в бога и в гроб.—Кто вспомнит о плавающих по морям?—По палубам, по железным лестницам, на носу, на корме, в observationalной бочке давно измокшие до нитки, без сна продрогшие, строгие и спокойные до предела—ибо иначе смерть!—матросы. Кто вспомнит о плавающих по морям?—Кубрик закупорен наглухо, двери и люки завинчены. В кубрике, где все четыре стены то-и-дело становятся полом, где все завинчено, кроме людей, на подвесных кроватях—двое курят трубки.

— И ты пойми только, знаешь, без денег... Знаешь, такие склады, продкомы то-есть...

По морям и океанам, под Южным Крестом и Полярной звездой, в тропиках и у вечных льдов,—идут корабли. По морям и океанам идут бури, ночи, дни, месяцы, годы. Море же—это две чаши: одна над другой чаша неба и чаша воды, да с неделю от берега и за неделю до него чайки и тачкою в небе кондор. И на кубрике, и у кормы, на кораблях живут возчики кораблей—матросы. В Сидни с шерстью, в Кардифе с углем, в Бенгуэле с каучуком, в Порт-Петербурге с лесом и пенькой—грузятся корабли, чтоб итти, нести

грузы—на острова Зеленого мыса, в Марсель, в Сайгон, Сан-Франциско, Буэнос-Айрес—Суэцами, Панамскими каналами, Индийскими, Великими, Атлантическими океанами. Так корабли ходят десятки лет, неделями и месяцами в море,—и матросы говорят о себе и друг о друге:

— Я (или он) пошел на берег,—он на берегу,—

и кажется, что борт корабельный стал им их землей, точно борт корабельный может быть землей; но матросы же знают, что в бурю, когда ветер, посинев, рвет ванты и людей, когда волны идут через фальшборты и бьют до спардэка,—когда корабль мечется в волнах ошвинкою в кипятке,—тогда надо смотреть на горизонт, ибо только он неподвижен и тверд, как земля, и плохо тому, у кого закачается в глазах горизонт, единственное некачающееся,—тогда его стошнит в морской болезни, нехорошей, мутной, собачьей тошнотой. И матросы не любят говорить о море, о морских своих путях и делах,—потому ли только, что это их будни? «Speranza»—это значит:—Надежда,—и символ надежды:—якорь, тот, которым матросы в морских безбрежностях цепляются за единственную землю—за донья морей. Матросы всегда дальнорорки!

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

ВЫШЛИ В СВЕТ:

- № 1. А. Лондр—„Кайенна“,
№ 2. А. Рифлинг—„Война будущего“.
№ 3. Мих. Зоценко—„Обезьяний язык“, юмор. рассказ.
№ 4. А. Дуначарский и Г. Лелевич—Анатоль Франс.
№ 5. И. Бабель—Рассказы.
№ 6. Л. Никулин—„Вторая Мещанская“, юмор. рассказы.
№ 7. Джон Рид—„Война с Колорадо“.
№ 8. Ефим Зозуля—Рассказы.
№ 9. Ник. Кашкаров—Рассказы об Октябре.
№ 10. Ларисса Рейснер—Азиатские повести.
№ 11. Михаил Пришвин—„Смертный пробег“, охот. рассказ.
№ 12. Юрий Соболев—„Новый Чехов“.
№ 13. Л. В. Занков—„Наука о поведении человека“.
№ 14. Андрей Соболев—„Китайские тени“, рассказы.
№ 15. Вера Инбер—рассказы.
№ 16. А. И. Свирский—„На волоске“, рассказ.
№ 17. Рен. Т. Марк—„Месс-Менд вождь герм. ЧК“.
№ 18. Н. А. Карпов—„Грызники-хозяичики“, юмор. рассказ.
№ 19. Якоб Вассерман—„Золото“, рассказ.
№ 20. А. Безъязынский—Избранные стихи.
№ 21. Карл Радек—„Сун-Ят-Сен и китайское революционное движение“.
№ 22. М. Горький—„Рождение человека“, рассказы.
№ 23. А. Новиков-Прибой—„Под южным небом“, рассказы.
№ 24. Всеволод Иванов—Рассказы и сказки.
№ 25. А. Сыркин—„Под восточной звездой“.
№ 26. Л. Сосновский—„О музыке и о прочем“.
№ 27. Б. Рустам Бек—„Полярные льды“.
№ 28. В. Маяковский—„Облако в штанах“.
№ 29. Мих. Зоценко—Нов. юмор. рассказы.
№ 30. Вл. Василенко—Рассказы.
№ 31. Вл. Лидин—„Рассказы о двадцатом годе“.
№ 32. М. Горький—„Два рассказа“.
№ 33. Михаил Кольцов—„Западные прогулки“.
№ 34. В. Шкловский—„Конец похода“.
№ 35. Л. Кармен—„Рассказы о пятом годе“.
№ 36. С. Гехт—Рассказы.

ЦЕНА КАЖДОЙ КНИЖКИ 15 КОП.

ЦЕНА 15 КОП.

1200
④

ПОДПИСКА НА БИБЛИОТЕКУ „ОГОНЕК“

Еженедельно ОДНА книжка:

1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 50 к., 6 мес.—3 р., 1 год—5 р.

Еженедельно ДВЕ книжки:

1 мес.—1 р., 3 мес.—3 р., 6 мес.—5 р., 1 год—10 р.

А Д Р Е С:

Москва, Тверская, Благовещенский пер., д. 3, телеф. 4-80-08
Издательство „ОГОНЕК“.